

## НИКАКОЙ ЛЮБВИ НЕТ

*Свердловск, декабрь 1987 года*

**В**чера я получила письмо от брата — длинное, раньше он мне таких не писал. Вначале, как всегда, просьба прислать сигареты (свердловский «Космос»), потом скупой рассказ о том, как они ходили в увольнительную на концерт рок-группы «Музей», махали там ремнями и веселились «дюже». Димка, точно как я, заражается чужими словами как вирусом — наверняка кто-то из его сослуживцев (скорее всего, прапорщик Возняк, сквозной персонаж его писем) говорит «дюже», вот брат и подцепил это слово.

Почерк у Димки тоже поменялся — в школе был нервный, непонятный («шифровка», смеялась мама), а сейчас почти каллиграфический, буква к буквке, да еще и с украшениями: над «т» — затейливая шапочка, над «й» сверкает маленькая молния. Все эти украшения отвлекают от главного — собственно содержания этого письма. Я читала и злилась, что взгляд цепляется за «шапочки» и «молнии», а внимание рвется, как колготки...

Ах да, он еще и звал меня в этом письме иначе, чем всегда, — не «Ксана», а «сестра». В этом тоже было что-то армейское: когда важно не имя, а статус человека, к которому ты обращаешься. Сестра — это теперь мое звание.

«Понимаешь, сестра, — писал Димка, и я хорошо представляла его себе в этот момент: серьезный, лишь изредка помаргивает, — мне нужна твоя помощь. Я прошу тебя подготовить родителей к тому, что сразу после дембеля мы с Ирой поженимся. Скажи им, что не надо меня уговаривать, спорить, взывать к моему здравому смыслу или, как выражается прапорщик Возняк, “инстинкту самосохранения”. Вопрос решен и обсуждению не подлежит».

Брат писал почти без ошибок, изредка ставил запятую не в том месте, и все. Сын научных работников, как могло быть иначе... Даже самая вредная учительница русского языка поставила бы ему за это письмо твердую четверку — в том, что касается грамотности. А вот за содержание лично я вклепила бы «пару».

Вспомнила тетради Таракановой — она даже с моего черновика не могла переписать сочинение, не надела в нем ошибок. Понятно, что в браке люди редко меряются грамотностью, но что если Димка однажды найдет на кухне записку с просьбой купить «стиральный парашок»? (Княжна считала, что именно так пишется это слово, произошедшее, по всей видимости, от слова «параша»).

И, кстати, она же пишет ему в армию — неужели Димку не коробит от этих ошибок, или он не видит их, они для него ничего не значат?

Неужели он на самом деле любит Тараканову? А Тараканова любит нашего Димку?

Тогда это означает, что любовь существует, хотя лично я в нее не верю. Никакой любви не было и нет. Люди очаровываются друг другом на какое-то время, а потом расходятся в разные стороны и делают вид, что ничего не случилось. Так было у нас с Ринатом. Я знала, что ему нравлюсь, — где-то в Ксеничкиных дневниках была такая фраза, что даже самая скромная девушка всегда знает, нравится она мужчине или нет. И Ринат мне нравился, скажу честно, я его любила, пока не произошла вся эта история с Кудряшовым и рублевым прыжком из окна. Я тогда еще подумала, что невозможно любить человека, если ты его не знаешь хорошенько, но как же его узнать, пока не полюбишь?..

А вот у Димки, похоже, нет никаких сомнений. Он любит Иру, он так решил, и точка. Точку, кстати, предлагается поставить мне, сержанту Сестре — и на меня «обрушится родительский гнев», как пишут в романах.

С каким удовольствием я бы сейчас писала роман — ну или хотя бы читала действительно интересную книгу! А вместо этого мне придется выполнять просьбу брата, и я оттягиваю ее до предела, сижу со своим дневником уже битый час, а потом буду читать Ксеничкин и только после этого приду на кухню к папе и маме, чтобы объявить, «на чем ваш сын несчастный помешался».

**Я** уж давно заметила, что пока едешь домой после долгого отсутствия, замечаешь в пути много интересного, но оно так быстро забывается, что спустя сколько-то дней силичишься вспомнить — и не можешь. Все же постараюсь описать наше возвращение из Добрина в Петербург через Витебск, хотя теперь мне более хочется рассказать дневнику о новой гимназии...

Выехали мы из Добрина в четверг, часов в одиннадцать. Тетя хотела нас провожать, но заболела. Утром приезжал Адам Станиславович, очень веселый: Стах выдержал экзамен. Поезд в Петербург отходил в восемь часов утра, следовательно, нам пришлось ждать почти целые сутки.

Остановились в квартире тети. Гуляли по Витебску, видели костел святой Барбары, где похоронен дядя Пьер. Вечер провели на квартире Болеслава Станиславовича, где были тетя Мариня, тетя Леля и тетя Тезя. Пили у них чай, вернулись домой поздно.

Витебск — довольно неприятный городишко. Он населен гуще, чем, например, Полтава, но гораздо хуже ее. Местоположение, правда, красивое, на берегу Западной Двины, но сами дома, грязные улицы, лацуги — все это очень противное. Замечательны здесь вывески. Редкая не отличается удивительной орфографией, другие уморительны по смыслу.

На другое утро, часов в семь, мы были на ногах. Были наняты с вечера еще два извозчика, мы положили на них вещи — и покатили. До Двинска ехать было ужасно скучно и неприятно. Вагон прегрязный, места мало, скука была невообразимая. Наконец, когда уже подъезжали к Двинску, против меня сел какой-то господин. Он долго расспрашивал про Екатерининскую гимназию и очень интересовался всем, что ее касается. У него дочь в II классе Двинской гимназии, и, как я поняла, он хочет перевести ее в Петербург. От Двинска ехать было лучше. Мы были в дамском вагоне, который разделяли с одной очень милой барышней.

В Петербург прибыли в девять часов утра. Как только вошли во двор, сейчас же хозяйка дома высунула голову из окна и пригласила нас к себе пить чай. Мама приняла приглашение, тем более что у нас не было ни служанки, ни провизии, а сама квартира находилась в величайшем беспорядке. Анна Александровна Хонина, хозяйка дома, — цивилизованная купчиха (теперь лавки уже у них нет). Она маленького роста, полная, в молодости была, вероятно, красивой, а так она кулак-баба. У нее дочь Мария Гавриловна, очень хорошенькая молодая девушка, отличающаяся замечательным эгоизмом. Она берет уроки пения у Прянишникова и воображает давать концер-

ты. В сущности, она поет отчаянно, то есть, по правде, elle gueule<sup>1</sup>. В прошлом году, когда у нас собирались по понедельникам, Мария Гавриловна всегда приходила с нотами порепетировать урок и своим пением сводила с ума бедного Лелю, который решительно не мог заниматься под такую невыносимую музыку. Но лицом она очаровательна. Мы у них выпили чай и «пофриштыкали». Затем пошли прибирать квартиру.

В комнатах все sens dessus dessous<sup>2</sup>! Кровать стоит в гостиной возле пианино, кухонный шкаф — в коридоре, все завешено, уложено. Я еще до вечерни убрала свой столик, этажерку и шкаф.

Наша собачка Лютик узнал нас и был очень обрадован. Лютик по породе такса-дворняжка. Он черный, лапки белые, но уши и лапы у него породистые. Мы не брали Лютика с собой в деревню, а оставили у дворника. Мошенник Лютик не забыл своих прежних привычек и по-прежнему норовит вскочить на постель и выспаться там вволю.

Всю первую неделю мы убирали квартиру, пока она не приняла все-таки сносный вид. У нас новая служанка — Маша. А в Петербурге — оспенная эпидемия. Везде расклеены афиши: «Прививайте оспу».

22 августа мы ходили в Воспитательный дом прививать мне оспу. Стечение народа огромное! Целыми классами приводили реалистиков.

Я в тот день ужасно устала, и было от чего.

После завтрака мы поехали с мамой в Казначейство. Оттуда — к Кудрявцеву, купили сумку, пенал, карандаши, тетради. Возвращаемся домой, смотрю: нет книги, которую брала с собой в Казначейство, — Consuelo, а книга-то тетина. Тогда я спросила у мамы позволения пойти с Машей за нею к Кудрявцеву. Мама позволила. Отошли мы немного от дому, и вдруг перед нами Лютик. Увязался и не хочет идти домой. Пришлось взять с собой. На углу Екатерининского канала Лютик вдруг встречает другую собаку, начинает играть с нею и собирается идти по совершенно другой улице. Тогда мы решили отправиться домой, Лютик пошел за нами, но, дойдя до Столярного, вдруг остановился и пошел в противоположную сторону. Тут-то и началась гонка. Уж мы его ловили, ловили, и в чужие дворы загоняли, и звали, и стращали. Наконец, собралось несколько мальчишек, которые с остервенением бросились его ловить. Между тем я беспокоилась за книгу. Поручила Маше во что бы то ни стало поймать Лютика, а сама отправилась совершенно одна к Кудрявцеву. Книгу свою нашла, но, не будучи уверена в том, загнала ли Лютика Маша, долго путала по Столярному, Казначейской и, наконец, пошла домой, где и нашла их. Как же у меня болели ноги...

<sup>1</sup> Она орет.

<sup>2</sup> Вверх дном (полный бардак).



24 августа был молебен в Александровской гимназии, а 25-го — начало занятий. Я беспокоилась: как-то я пойду в этой гимназии! Вообще, мне по части учения не везет. Десяти лет я поступила в Полтавскую гимназию, пробыла там два года и была первой ученицей. Потом поехала в Швейцарию. В это время умер мой отец, и вернулась я уже в Питер. Мама стала хлопотать о моем поступлении в Александровскую гимназию, но вакансий в IV классе не было. Поместили в Екатерининскую, и я там тоже шла первой. Как вдруг переводят гимназию в дом химической лаборатории около Варшавского вокзала. Даль ужасная, по крайней мере, для меня, не привыкшей к петербургским расстояниям. И вот теперь я в Александровской, но не знаю, как я в ней пойду. Дай Бог быть хоть из первого десятка, все-таки в III классе уже трудно перегонять.

Кто знает, может, на будущий год я, как в насмешку, должна буду перейти в Коломенскую?..

К десяти часам 24 августа портниха принесла мое платье и передник. Платье красивое, из толстой темно-коричневой шерстяной материи, передник черный шерстяной с оборкой вокруг (я уж давно желала именно такой). Очень грустно только то, что, говорят, в этой гимназии не позволяют носить воротничков,

а я так люблю белый блестящий воротничок вокруг шеи. В одиннадцатый без честиерти мы вышли. Первым делом направились в канцелярию, и мама заплатила за меня пятьдесят рублей. Инспектор поручил меня какой-то классной даме, которая провела меня в III класс «Б». У дверей класса стояла низенькая черноволосая женщина в синем платье. Дама, приведшая меня, сказала: «Вот вам еще новая ученица». Низенькая посмотрела на меня и, сделав жест рукой по направлению к дверям, сказала: «Пожалуйста».

Я вошла. Душ двадцать учениц сидели на скамьях и болтали. Это все перешедшие из прогимназии. Было и несколько новеньких.

Никто на меня не обращал внимания, и я оставалась стоять возле парты, ожидая, когда-то поведут нас на молебен. Самой начинать разговор мне не хотелось. Никогда в жизни со мной не случилось ничего подобного! Когда я поступила в Полтавскую гимназию во II класс, моей товаркой оказалась Верочка Финкельштейн, которую я знала с девяти лет. И в Екатерининской как-то в первую же минуту нашла себе подругу. А тут чувствовала себя ужасно одиноко. Наконец явилась классная дама и велела становиться в пары. Но учениц оказалось нечетное число, а так как всякая имела подругу, мне пришлось остаться без пары и плестись сзади всех.

Когда мы пришли в залу, явился инспектор и объявил, что по случаю оспенной эпидемии в городе занятия откладываются до 31 августа с целью, чтобы все ученицы привили себе оспу. Оспопрививание будет также сегодня в здании гимназии. Нас опять повели в класс, и классная дама всех опрашивала и отмечала непрививших. Затем те, у кого все в порядке, пошли домой, а непривившие остались.

На меня вообще эта гимназия произвела в первый раз неприятное впечатление. Ученицы мне не нравятся, у многих нахальные, дерзкие физиономии, одна ужасно похожа на обезьяну (Маюрова). Классная дама, верно, страшно злая. Инспектор — большой мужик, верно, из семинаристов. Разговаривая с мамой, он не попросил ее сесть и положил ногу на диван! Он у нас будет учителем русского языка.

Еще в этой гимназии совсем другие пюпитры, чем у нас. Место для сумки не внизу, под пюпитром, а в середине его, так что надо поднимать крышку, чтобы вытащить книгу. Одна ученица (Женя Иванова) позади меня сказала, что парта отвратительная: нельзя будет засматривать в книгу, потому что учитель всегда увидит, когда будешь поднимать крышку.

На другой день мама и я пошли к Елене Антоновой, моей бывшей классной даме в Екатерининской гимназии. Она живет в доме Фридерикса на набережной Фонтанки. У нее мы застали Елену Фридриховну Сейтель, мою бывшую учительницу географии. Еле-

на Антоновна много хворала с весны, но с нами была очень милой, два раза меня поцеловала. Мама сообщила, что я перешла в Александровскую гимназию, и Елена Антоновна сказала, что, вероятно, я и там буду хорошо учиться. Дай-то Бог! Она много спрашивала про тетю Лелю, которую давно знает и очень любит. А у меня почему-то снова явилась моя прежняя застенчивость, так что я все время молчала. Посидев с полчаса, мы простились и вышли. На улице шел дождь, пришлось брать извозчика. Вот вам Петербург: вышли в прекрасную погоду, а возвращаемся в ливень.

Я очень люблю Елену Антоновну. Думаю, что и она также меня любит. Сегодня после посещения ее мне вспомнилась одна неприятная история, которую я не думаю когда-нибудь забыть.

В ноябре прошлого года, входя в класс, я заметила, что все ученицы чем-то очень взволнованы, но не обратила на это внимания и не спросила о причине их оживления. После молитвы мы возвратились парами в класс, как вдруг за моей спиной хорошенькая жидовочка Марголина говорит своей соседке: «Вот-то будет удивлена Софья Васильевна (учительница французского языка), когда увидит, что все хорошо напишут диктовку».

Меня поразили эти слова, и я просила истолковать мне их смысл. Оказалось вот что: раз Софья Васильевна диктовала нам, но не кончила, то, по всей вероятности, будет продолжать тот же диктант. Между тем этот рассказ нашелся у некоторых учениц, которые его списали и выучили наизусть. Моя соседка Лазарева сообщила мне, что она писала его дома под диктовку, причем попросила меня посмотреть, нет ли ошибок. Она мне дала страшно измазанную тетрадку, я начала читать, причем нашла даже одну или две ошибки, но не прочла и половины, как вошла Софья Васильевна. Когда урок кончился, я попросила дать мне диктант, чтобы проверить, и оказалось, что у меня две ошибки, именно в том месте, которое я прочла. Очевидно, читала не очень внимательно.

На следующий урок явилась учительница с серьезным лицом и попросила встать всех выучивших диктовку. Обман был совершенно ясен, потом что все самые худые ученицы написали на 12. Многие встали, хотя главные зачинщицы — Закс, обе Марголины и Жилина — остались на своих местах. Я не встала, ведь я не учила диктовки, не знала о существовании заговора и прочла только потому, что мне ее дали прочесть, да и не имело бы смысла мне учить его, потому что я всегда пишу диктовки на 12 и 11 и очень редко на 10. Довольно того, что я не встала. Но когда кончился урок, мне в душу закралось сомнение, а может, нужно было встать, ведь я все-таки его читала, хоть и



без умыслу? Подошла к Елене Антоновне и говорю: «Я тоже немножко прочла». Елена Антоновна только посмотрела на меня: «А, и вы читали?» — и отвернулась. Тут только я поняла сделанную мною глупость: ведь нельзя же было ей объяснять, как все произошло, да и не поверила бы, а сейчас подумала, что оправдываюсь... В конце концов самое слово «немножко» как-то фальшиво звучит, будто бы я все прочла, а говорю «немножко», чтобы уменьшить вину. Пришла я тогда домой вся в слезах. Мамочка успокоила меня, и на другой день я пошла с менее неприятным чувством на сердце. Елена Антоновна перед уроком произнесла речь и объявила, что менее всего виноваты те, которые сразу сказали, а те, которые не сказали, а потом почувствовали угрызения совести, те очень виноваты, потому что коли поступок был совершен классом, так надо было и говорить перед всем классом. Этот камушек был брошен в мой огород.

Теперь, конечно, Елена Антоновна уже забыла об этом, но все-таки, когда я вспомню об этом, мне всегда тяжелым камнем ложится на сердце мысль, что моя любимая наставница могла заподозрить меня в обмане, а главное, во лжи.

До конца августа стояла отвратительная погода, все время шел дождь. Должно быть, от этого я чувствовала какую-то невыносимую лень, ничего не хотелось делать: села за фортепиано — не играет, даже и мой милый дневник не привлекает меня к себе, и я с трудом пересилила себя, взяла перо, чтобы написать хоть несколько строк. Мама все эти дни варила варенье, а я ей помогала тем, что чистила ягоды.

Вчера в «Русской старине» я читала записки Мих. Ал. Бестужева, да и вообще кое-что о декабристах. Я бы желала, чтобы мой дневник имел тоже какой-нибудь смысл, и чтобы он был интересен для тех, которые его прочтут (если только его будут читать), но, увы, до сих пор в нем не записано ни одного события, хоть сколько-нибудь интересного.

## **КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ**

*Санкт-Петербург, октябрь 2017 года*

**О**щущение пустых рук Ксана не любила, как не любила, если внезапно меняются планы. По-детски расстраивалась, вместо того чтобы радоваться случайно выпавшей удаче — например, такой, как два свободных дня с частичной оплатой. Подозревала судьбу в коварстве: если ей второй раз за год так повезло (одни швейцарские каникулы чего стоили!), значит, скоро предъявят счет, а она еще и с прежними долгами не расплатилась...

— Что за привычка все время ждать беды! — сердилась Анечка, верившая в позитивное мышление и отзывчивость Вселенной.

Шутки шутками, но Вселенная действительно слышала Анечку, и стоило той лишь намекнуть о своем желании или потребности, как звезды тут же выполняли заказ: планета Земля, Россия, Екатеринбург, проспект Ленина, дом такой-то, квартира такая-то, Ане Соргиной в собственные руки. Объявленная ценность посылки не имеет аналогов в человеческом мире, содержит счастье и сбывшиеся мечты в двойном объеме. Ксана не завидовала сестре — это было и глупо, и бессмысленно, ведь Анечкино счастье было продуктом строго индивидуального, даже можно сказать, интимного пользования: в руках у Ксаны оно рассыпалось бы в пыль, как золото в какой-то сказке. И общаться со Вселенной вот так же, напрямую, она не умела — точнее, умела, но со знаком минус. От звезд ей чаще всего доставались испытания, но Ксана почти всегда успевала сгруппироваться, а это уже неплохо. Поэтому если выпадал вдруг счастливый билет, она искренне мучилась опасениями, что оплата за него станет непомерной.

Пока, впрочем, обходилось. Да, дома все было плохо, но это «плохо» шло по разряду «как обычно». За столько лет можно привыкнуть...

Ксана вышла из метро на станции «Садовая» — и теперь крутила головой, пытаюсь понять, куда идти дальше. Петербург она знала неважно, Интернет на телефоне из экономии подключать не стала и теперь жалела об этом. Администратор из гостиницы «Москва» начертил на карте города почти прямую линию от метро до здания архива — два с половиной километра пешком, но это ерунда. Понять бы, в каком направлении двигаться!

— Вы не подскажете, как пройти на улицу Римского-Корсакова? — спросила у какой-то пожилой дамы, и та, с достоинством поправив Ксану («Это не улица, а проспект!»), махнула рукой направо.

Ксана пошла в указанном направлении и действительно оказалась вскоре на нужном проспекте имени выдающегося композитора. Вспоминала, как Димка в детстве стащил у нее тетрадку по музыкальной литературе и «переписал» все конспекты в соответствии с собственным чувством юмора. «Римский-Корсаков» превратился в «Римского-Коржикова», «Людвиг ван Бетховен» в «Сдвиг ванны Бетховена», «Топот бегущего коня» в «Хохот бегущего коня», а задание «выучить про Баха» стало невыполнимой миссией «выучиться на Баха».

Проспект был довольно тихим, погода — не по-балтийски благонравной, ходьба как всегда успокаивала. «Вот так ходишь, ходишь всю жизнь, а потом ложишься и умираешь, и в чем смысл?» — ворчала чья-то бабушка.

Проспект принял влево, и Ксана вместе с ним. Слева на отдалении увидела храм — воздушный, но

в то же самое время крепко стоящей на земле (точно как Анечка). Никольский морской собор, вспомнила Ксана. Светло-голубые стены с белыми колоннами были как будто наряжены в тельняшки...

С позитивным мышлением и прямой адресной рассылкой от Вселенной и обратно дела обстояли плохо, но вот в церковь Ксана время от времени ходила — ставила свечи святому Пантелеймону, исцелявшему душевные болезни, крестилась при входе и на выходе, вот, пожалуй, и все. Воцерковиться по полной программе, как, например, Варя, она не сумела — но примерно через год после Катастрофы решилась на исповедь и причастие. Выбрала храм в другом районе, где их точно никто не знает, выяснила, когда начинается вечерняя служба, и пошла.

Тяжело тогда пришлось, прежде так не было — всегда оставалась какая-то надежда, какой-то слабенький свет, а тут вдруг даже его отменили. Выключили.

— Да просто молодость кончилась, — сказала мама. — Когда больше нет надежды, тогда она и заканчивается. Понимаешь, что уже ничего не сможешь изменить... Только смириться и катить свой крест дальше.

Конечно же, она имела в виду «камень», но Ксана не стала ее поправлять. Мама была права. В тот год у Ксаны впервые появилось ощущение, будто перед носом у нее хлопнули дверью, и теперь надо будет провести остаток жизни (а осталось-то уже не так много) в душном, смертельно надоевшем помещении, в тюрьме собственной жизни. Выполнять одну и ту же работу, видеть одних и тех же людей, все тот же город, и даже новости, при их несомненном разнообразии, в конце концов повторялись. Падали самолеты, горели леса, где-то прорывало канализацию, а где-то принимали новый закон, как две капли воды похожий на старый. Ксана давала частные уроки, готовила к ЕГЭ, занималась техническим переводом — в основном для врачей из дорогих клиник, где закупали оборудование за рубежом, и не очень понимали, как им теперь пользоваться. Ни о каких поездках за границу (тем более о том, чтобы перебраться куда-то на «постоянно») и речи не шло — нельзя было оставить маму. Она тяжело переживала уход отца, его смерть стала для нее страшным ударом — зря она не пошла тогда на похороны, простилась бы, простила, может, и не мучилась бы так. А потом стало еще хуже, еще страшнее: Димкино самоубийство, Княжна, которая катилась в пропасть с упоением — как с ледяной горки, болезнь Андрюши, Катастрофа и Долг. Нет, думала Ксана, выходя из дома вечером, выбранным для исповеди, менять свою жизнь радикально могут только те счастливые люди, которые ни за кого в этом мире не отвечают. Нет у них старых, малых, больных и убогих — а есть лишь свобода, возможность вырвать

из дневника исписанные страницы — и начать все заново, с чистого листа. То, чего нет у нее, Ксаны. И уже никогда не будет.

Церковь, которую она выбрала, находилась на площади Обороны — в районе, где у Лесовых не было вообще никаких знакомых. Ксана ехала в автобусе, думала, как хорошо, что взяла с собой зонт — теперь дождя точно не будет! Но «метод зонта» не сработал: как только она вышла из автобуса, так тут же начался свирепый ливень, да еще и с ветром — лето называется, сердилась Ксана, промокая до нитки, несмотря на зонт. В лужах плясали пузыри — крупные, как ожоги второй степени.

«Наверное, на службу никто не придет», — думала Ксана, шлепая по паперти в мокрых туфлях. И зря она так думала: в притворе стояли раскрытые зонты, в церкви было тепло, и прихожане уже заняли свои (видно было, что они — свои, негласно закрепленные) места перед алтарем. Батюшка служил один, без диакона, только какой-то мальчик в черном костюме, кажется, он называется «алтарный служба», изредка помогал ему и сильно все путал — это поняла даже Ксана. Батюшка ей понравился: немолодой, несуетливый, и видно, что добрый.

Она не могла сосредоточиться на молитвах, слушала их как музыку, и сама себя ругала, и сразу после этого ругала себя теперь уже за ругань... Тайком разглядывала прихожан — бабушки, старики, странные молодые люди и пара женщин средних лет: одна была очень толстая, в черном гипюровом платке. Ксана стояла рядом с этой толстухой, поглядывая на нее, как в школе глядят на отличниц. Толстуха все делала как надо — поклон, крестное знамение, «Верую», «Отче наш», «Богородице», отойти к стеночке, если батюшка идет с кадиллом, потом повернуться, когда он идет в обратном направлении. Ксана повторяла за ней все движения, зачем-то вспомнив, как в орском детстве пыталась учиться танцам по схемам из журнала «Здоровье». Потом подняла глаза вверх — и подумала, что эта церковь ей о чем-то напоминает.

Ну конечно! Родная школа на улице Ясной — стандартный стройпроект, который воспроизводили по всему СССР. Вот и здесь, в этих стенах, тоже была раньше школа или какой-нибудь колледж, а теперь — храм во имя Симеона Верхотурского.

Вместо того чтобы молиться и думать об исповеди, которая уже вот-вот начнется, Ксана разглядывала стены и потолки храма, узнавала типовую школу с ее коридорами, раздевалкой, рекреациями...

Ну и какая из тебя исповедница, думала Ксана, лучше уйти отсюда прямо сейчас! Туфли насквозь мокрые, в голове вместо благостных мыслей — скудные краеведческие познания, будто крошки с чужого стола...

Прихожане тем временем уже выстроились в нечто вроде очереди — многие подходили к священнику, держа в руках листок со списком собственных грехов (ни дать ни взять — список покупок в супермаркете). Вначале кланялись прочей пастве, сложив руки на груди, как бы просили благословения для исповеди, а потом уже шли со своим листком к батюшке, и тот, поправив очки, внимательно с греховным перечнем знакомился.

У Ксаны никакого списка не было, и она сразу решила, что не будет всем кланяться — не из гордости, какая там гордость, а от смущения, что сделает что-то не так.

Подслушивать чужие признания ей тоже совсем не хотелось, но храм был маленький, и когда певчие на миг смолкли, она вдруг услышала отчетливые слова толстухи в черном гипюре:

— Мужу изменяла...

Когда приблизилась ее очередь, Ксана в очередной раз подумала: зря я все это затеяла, толку не будет, как обычно, как всегда... Но почему-то не сбежала, а похлопала в своих мокрых туфлях к священнику. Все перепутала — не знала, что говорить, как прикладываться к Евангелию, целовать священнику руку или нет. Батюшка смотрел на нее с каким-то веселым сочувствием, а потом спросил вдруг очень просто, как будто они были друзья:

— Что случилось-то?

Ксана стала рассказывать — впервые в жизни она говорила вслух о Катастрофе и Долге с кем-то, кроме мамы и Анечки. Голос не слушался, она путала слова, заикалась и думала: черт, зачем я об этом рассказываю, ведь надо про грехи, и зачем я чертыхаюсь... Батюшка слушал терпеливо, не пытался оборвать на полуслове или подсказать нужную фразу, в поисках которой металась мысль под съехавшим на затылок платком.

— А тот парень, который пришел по вызову? — спросил он наконец. — Его не спасли?

— К сожалению, нет. — сказала Ксана. — Я потом говорила с его мамой. Это... это было...

— Я понимаю, — сказал батюшка, и в глазах его Ксана увидела — он правда понимает. — Как зовут-то? — Меня?

— Ну не меня же.

— Ксения.

— Ксения Петербургская, — задумчиво сказал батюшка. — А с сыном сейчас как?

Ксана рассказала, как. Еда, сон, компьютер. Три кнопки.

— Меняйте терапию, — посоветовал священник. В его устах эти слова звучали странно, он и сам это почувствовал, потому что сказал: — Церковь не отменяет и не заменяет лечение. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал

его». А вот скажите мне, Ксения, вы в храм приходите, только если помощи ищите?

— Я просто подумала, — смутилась Ксана, — то есть мне сказали, что если я исповедуюсь и причащусь, то все может наладиться. Нет, я, конечно, понимаю, что это не бартер, «ты мне, я тебе», но просто я уже совсем не понимаю, что делать и как отдавать Долг.

— Долг — тоже грех, — заметил священник.

— Но я же отдаю! Отрываю от себя с кровью — и отдаю. Все выплачу, лет через десять точно.

— Это правильно, — задумчиво сказал батюшка, — да, это правильно.

И вдруг переключился:

— Аборты были?

Пробежаться по всем грехам — это, видимо, была обязательная часть программы, без которой к причастию не допустят.

— Ни на кого не сердитесь, со всеми примирились?

— Со всеми, — сказала Ксана, пытаюсь не думать про Княжну и Анечку.

— Завтра придете к восьми часам на службу и причастие. Если я имя ваше забуду, не обижайтесь, — попросил батюшка, и глаза его снова стали веселыми.

— Не буду, — улыбнулась Ксана.

— С ночи нужен пост, знаете?

— Я без еды могу, но вот сигареты...

— Последнюю покурите в половине двенадцатого, хорошо?

— Да. Конечно. А вы будете завтра здесь?

— Будете.

Опять все перепутав, приложилась к Евангелию, поцеловала манжет облачения («поручи», всплыло откуда-то забытое верное слово) и пошла на свое место, поближе к толстухе-изменщице.

На следующее утро в храме собрались все те же люди — кто-то даже кивнул Ксане как доброй знакомой. Служба на этот раз не показалась долгой, может, дело было в сухой обуви, а может, еще в чем-то. Когда дошла очередь до причастия, Ксана вместе со всеми пошла к чаше. Батюшка не стал спрашивать имя, вспомнил сам — Ксения.

— Рот пошире откройте, — сказал он, как если бы был врач.

«А он, впрочем, и был для меня врач», — думала Ксана, шагая по проспекту Римского-Корсакова, какому-то поистине нескончаемому.

— Это так не работает, — засмеялась Варя, когда Ксана спустя много времени рассказала ей о том, что уже на следующий после причастия день ей пришло письмо от Саши, подруги парижских лет. Саша предлагала потрянуть стариной и устроиться на работу в агентство, которое буквально на днях открывает какой-то ее знакомый — специально для «неговорящих» русских клиентов.

«Придется ездить туда-сюда, если ты, конечно, не надумала перебраться в Европу. Но зарабатывать будешь больше, чем в универе, это я тебе гарантирую, — писала Саша. — Я всех наших зову, но тебя и Дуську в первую очередь».

Саша была хитрой и осторожной, из тех эмигрантов, которые в момент становятся большими европейцами, чем сами европейцы. Деньги считала виртуозно, по первому образованию — математик. Хитрая, но при этом абсолютно порядочная и надежная: главное, не переходить ей дорогу в том, что касалось связей и денег. А Ксана и не переходила — их дороги были на расстоянии многих тысяч километров. Но жизнь ее благодаря тому письму изменилась: отчаяние сменила пусть хилая, но все-таки надежда отдать Долг не через десять лет, а раньше.

— Это так не работает, — снисходительно посмеялась Варя над простодушным рассказом подруги, и Ксана не стала с ней спорить — как всегда тихо осталась при своем мнении. Мнение такое: Бог пришел ей на помощь, поэтому она теперь повсюду возит крошечный складень и молится дважды в день, стараясь не улетать мыслями далеко во время молитвы.

Перспект наконец-то кончился, и Ксана, сверившись с картой, повернула на улицу Псковскую.

## **КОЕ-КАКИЕ МЫСЛИ О ЧУЖИХ ДНЕВНИКАХ**

*Свердловск, январь 1988 года*

**С**амое интересное в мире чтение — это дневники. Как ни старайся сама сочинить что-то похожее, будет все равно не то. Мама говорит, это потому, что правда всегда побеждает вымысел, и тут же сама себе противоречит: советует мне сочинять рассказы.

— Потом отправим в редакцию «Нового мира»! Или хотя бы в наш «Урал».

Но мне в эту сторону даже думать страшно. «Новый мир»! Мама как будто забыла о том, что я в детстве отправляла свои стихи в «Пионерскую правду», и мне пришел оттуда ответ на бланке. Редактор сообщил, что у меня, безусловно, есть способности, но я не умею выбирать подходящие для публикации темы. Я была совершенно убита (в мыслях уже представляла себе, как покупаю газету с моей фамилией красным шрифтом), а мама почему-то радовалась:

— Но ведь он же признал, что способности есть! Безусловные!

Стихов я, во всяком случае, с той поры не пишу. Другое дело — рассказы или даже повести. Хотя, если совсем честно, я бы лучше вела всю жизнь дневник, как это делала Ксеничка Левшина. Пусть даже я путаюсь теперь в его героях (трудно понять, кто такие Витольд, Чесь или Малита — Ксеничка не

уточняет, потому что пишет прежде всего для себя, а не для кого-то другого). Видимо, это ее родственники, кузены и кузины по линии Шаверновских — они жили в Витебской губернии, у них было имение Добрино, куда Юлия Александровна и привезла детей на лето через год после возвращения Ксенички из Швейцарии.

Меня почему-то задевало, что Ксеничка так быстро забыла о Лозанне и Лакомбах — я все жду в дневниках упоминания о том, что было дальше с Маргерит и Нелл, ну или хотя бы словечко о том, как она отправляла в Лозанну посылку с икрой (черной или красной? Лично мне больше нравится черная, хотя я пробовала ее только раз в буфете оперного театра). Но так, видимо, и не дождусь.

Если бы это была книга, я могла бы рассердиться на ее автора — я часто сержусь, если писатель плохо поступает со своими героями или не рассказывает о них действительно важные вещи. Но это не книга, а дневник — точнее, дневники, десятки тоненьких тетрадок, исписанных знакомым почерком Ксенички и кое-где дополненных примечаниями, сделанными уже в 1950-х.

Я давно разложила дневники по порядку и знаю, что с 1903 по 1909-й сохранилась единственная тетрадка. Совсем нет записей революционного времени, наверное, тогда Ксеничке было совершенно не до дневников, или их кто-то изъяс? Потом появляются 1930-е, начало 1940-х, и уже совсем поздние, сделанные в 1950-х, почему-то на французском языке. Я просматривала их, но ничего особо секретного там не увидела — бытовые впечатления, связанные с какой-то Катей и жизнью в Хабаровске. Может, Катя и делала те примечания? Но кем она была? Той самой дочерью Ксенички, с которой она уехала из Свердловска на Дальний Восток? И зачем было писать на французском?

— Может, тебе на архивное поступить? — спросил недавно папа.

Они так переживают из-за моего поступления, что это уже перешло в какую-то манию! Когда у меня будут свои дети, я буду вести себя с ними совсем по-другому.

Мама считает, что мне нужно идти на филологический («Работать после филфака можно кем угодно — не обязательно учителем. Да хоть журналистом!»). Папа почему-то видит во мне историка, это, конечно, из-за дневников Ксенички — он, в конце концов, смирился с тем, что я их читаю: «Хотя бы кому-то это интересно». А как это может быть не интересно?! Но становиться историком или журналистом я совершенно точно не хочу.

Я давно решила, что буду переводчиком с французского, хотя и немецкий, и английский мне тоже



очень нравятся». Французский я знаю теперь, можно сказать, хорошо — но язык требует каждодневных занятий, чуть-чуть ослабишь хватку — и он тут же теряется: его надо постоянно держать в руках, как держишь ценную вещь в кармане, проверяя, не выпала ли на ходу.

Меня всегда смешит, когда люди говорят: «Он знает французский в совершенстве!» Глупости. Нет никакого совершенства в изучении иностранного языка — можно лишь приблизиться к нему, но никогда не встанешь вровень с теми, для кого он родной.

Моя мечта — переводить с французского на русский хорошие книги. Переводчик — он ведь тоже по сути писатель, хоть и переводит не свои, а чужие мысли, как слепых старушек через улицу.

А Гоголь вот как говорил: «Переводчик превратился в такое прозрачное стекло, что кажется, как бы нет стекла».

Но я не уверена в том, что хочу быть только лишь прозрачным стеклом...

В общем, я буду поступать на факультет иностранных языков пединститута.

Варя собирается на журфак, ходит на подготовительные курсы, уже публикуется в газетах и страшно важничает. Даже гонорары получает!

Ринат пойдет в архитектурный, Беляев — в горный, бедняга Кудряшов (его совсем недавно выписали) — на матмех или в СИНХ, где учится Анечка. Люся Иманова — как и я, в педагогический, но на русский и литературу.

Княжна никуда поступать не собирается. Она устроилась на работу в магазин «Ткани» на ВИЗе и ждет возвращения Димки из армии.

Когда я сказала родителям о свадьбе, мама заплакала, а папа закурил, хотя не курит уже лет пять! Я с трудом сдержалась, чтобы не стрельнуть у него сигарету.

— Может, еще передумает? — Мама повторяла эти слова как маленькая, и мне было ее нестерпимо жаль. Ужасное чувство — эта бесполезная жалость, когда хочется помочь, но чем и как, не знаешь... — Страшно представить, ведь с такой наследственностью девочка...

Я честно описала реакцию родителей в письме брату, и он ответил, что чего-то подобного и ожидал — но мнение его окончательное и обсуждению не подлежит.

— Какая страшная вещь — любовь, — сказала мама, когда я показала ей Димкино письмо. — Прекрасная и страшная.

Потом она вздохнула и сказала, что надо, наверное, поговорить с Ирой — пусть она приходит к нам в гости. Раньше ведь сидела дни напролет — не выкуришь, а теперь вдруг пропала.

Я обещала поговорить с Княжной — и завтра после школы поеду в магазин «Ткани». Заодно посмотрю что-нибудь для выпускного. Мама сказала, сошьет мне платье сама, но надо купить красивый материал. А выкройку она возьмет у знакомых, они выписывают журнал «Бурда Моден».

Между прочим, я бы пошла на выпускной прямо в том сером платье, которое мне отдала Анечка. Платье совершенно не праздничное, но сидит на мне просто прекрасно. Мама еще летом спросила, откуда оно взялось, и я соврала, что Варя подарила — ей не подошло, маленькое.

— Странно, она ведь такая худенькая, — удивилась мама, но больше расспрашивать не стала.

## БОНБОНЬЕРКА

*Санкт-Петербург, сентябрь 1900 года*

**Т**олько еще две недели, как я хожу в гимназию, а уж смерть как надоела вся эта наука! В среду у нас было первое сочинение, тема легкая: «Лето в деревне». Да я-то не сообразила, что дело не в количестве, а в качестве, думала, что надо в час обязательно кончить, вот и накатала пять страниц такого, что теперь, как подумать, стыдно становится. На каждой строке восклицательные знаки, разные поэтические сравнения, а между тем из сочинения нельзя получить никакого понятия о лете. Не знаю, что мне за него будет.

Вчера я была весь день в очень скверном расположении духа. Мама меня утешала, говоря, что может быть, сочинение еще очень хорошо написано и даже лучше, чем у других, и ссылалась на такую же недавно происшедшую историю. Тогда была русская диктовка: «Чуден Днепр при тихой погоде». Сверив мною написанное с текстом, я заметила, что у меня восемь очень крупных ошибок в знаках. Всю неделю я была в отчаянии, ожидая шестерки. В понедельник приносит учитель диктовки, берет первую тетрадь, которая оказывается моею, протягивает мне и говорит: «Великолепно написано. Ни одной ошибки». Я взглянула на него со злостью, думала, он смеется надо мной. Оказывается, правда. Баллов он, впрочем, не поставил. Но уж этот раз надеяться нечего. Написано мое сочинение действительно отвратительно. Вчера я до того досадовала на себя, что ввечеру совсем скисла, начала плакать, наконец не могла уже удержаться и весь вечер то редела, то смеялась, сама не зная чего. Мама думает, что я устала. Мы перед тем стояли два часа в церкви.

Вспоминала сейчас, как начинались занятия в новой гимназии. 31 августа ровно в девять начался молебен. Этот раз я чувствовала себя менее одинокою, на молебне стояла в паре с Рудневою. Она второгод-

ница и не очень мне нравится. Но потом Руднева нашла свою пару, и мне пришлось ходить одной. Перед молебном о. Виноградов сказал речь, по окончании которой нас повел в класс, и Наталья Модестовна (наша классная дама) продиктовала расписание и велела ждать учителя истории. До его прихода она сделала нам переключку и произнесла маленькую речь, которую заключила словами: «Знайте, что больше всего на свете я не терплю лжи. И кто раз солжет, тот мне становится так ненавистен, что я его выживаю».

Я заняла место на первой скамье, прямо против учителя. Но вследствие этого никто не решился сделать моей соседкой, и на мое предложение все ответили отказом. Не хотите, так и не надо. В раздумье я принялась чертить карандашом в своей записной книжке. Как вдруг звучит чей-то голос, и кто-то садится возле меня. Я оглянулась и чуть не остолбене-ла. Моей соседкой, отважившейся сесть на страшное место, оказалась огромнейшая девчанина (иначе сказать нельзя, хоть и некорректно) — большого роста, толстая, как бочка, с пухлым лицом и совершенно рыжая. Лейбович. Сейчас она мне кажется куда как милее, а может, я просто привыкла, но тогда была в отчаянии — сидеть с таким чудом-юдом! Но так как поправить дело нельзя было, я примирилась с этим и даже утешала себя подлой мыслью, что соседство с таким уродом сделает меня более миловидной. Несмотря на это утешительное предположение, я была в восторге, когда Наталья Модестовна сказала: «Пусть большие сядут позади, чтобы не заслонять маленьких». Так как мою подругу никак нельзя было назвать маленькою, ей пришлось ретироваться на самую последнюю скамью.

На последнем уроке ко мне села девица Шварц, очень миленькая девочка, учившаяся прежде в немецкой Петропавловской школе.

От нечего делать я начала разбирать «иероглифы», которыми испещрен мой стол. Они меня очень забавили. Наверху стола было изображено сердце, пронзенное стрелой, а ниже надпись «Э. Ф. душка» (вероятно, Эмилия Федоровна Гельмбрехт, учительница немецкого языка). Еще ниже: «Я вас люблю», немножко левее: «Прощай», затем куча вензелей, имен etc. У моих соседок были надписи менее нежные: например, «Козакевич — болван». Явился учитель истории — Владимир Петрович Нечаев. Я могла вволю наглядеться на него, между ним и мною был какой-нибудь аршин. Он сухой, немного сморщенный, но не старый, с большим красивым умным лбом. Меня особенно поразили его руки. Его ногти так выпуклы, что часть пальца, находящаяся перед ним, кажется ввалившейся. Владимир Петрович начал урок вопроса-ми, на некоторые из них я отвечала порядочно, один раз, впрочем, запнулась и сболтнула глупость. Затем

он экзаменовал Мокрякову. Она ничего решительно не знала и получила 6. Но учитель утешил ее, говоря, что если по всем другим предметам баллы будут удовлетворительны, то он переспросит ее еще раз. Велел повторить на будущий урок все об Александре Македонском.

Следующий урок в первый день был математика. Учитель — старичок (Людвиг Александрович Монкевич) с лысой головой, покрытой белым пухом, с морщинками вокруг глаз; говорит очень странно, должно быть, малоросс, и страшно картавит: «тррри аррршина». Но очень симпатичный. Экзаменовал Мокрякову и поставил ей 9. Потом предложил несколько вопросов всему классу. Между прочим, дал мне какую-то пустую задачку. Но я так чего-то струсилась, что никак не могла рассуждать как следует и молчала, и он даже спросил: «Что так долго?» Однако потом я оправилась и дала верный ответ. Последний урок был немецкий. Учительница — Эмилия Федоровна Гельмбрехт — долго не приходила, и в начале урока учительница географии Евгения Ивановна Репьева проэкзаменовала Мокрякову. Евгения Ивановна всем очень понравилась: живая, быстрая, некрасивая, но с приятным лицом, она все время подсказывала Мокряковой и поставила ей 8, хотя та ничего не знала. Затем пришла немка, очень симпатичная. Проэкзаменовав Мокрякову, она познакомилась с нами, говоря с иными по-немецки, с другими по-русски, но большей частью по-русски, потому что половина класса не умеет говорить по-немецки. Она даже сказала немке fraulein Gross: «Вам будет смешно слышать, как они говорят».

Теперь приступлю к самому интересному событию того дня. По окончании уроков я спустилась вниз и в вестибюле нашла маму, которая сказала мне: «Скорей одевайся, тебя ждут». Я не обратила большого внимания на ее слова, думая, что меня ждет служанка. Выхожу. Смотрю, возле мамы стоит небольшого роста офицер, который подходит ко мне с улыбкою и жмет мне руку. «Узнаешь?» — спрашивает мама. Разумеется, я не узнала, но сейчас же догадалась, что это Галактион Никитич Колюх. Надо сообщить кое-что о нем. Он происходит из простых мужиков (его братья и теперь хлебопашцы), однако он кончил гимназию, потом юнкерское училище и даже готовился в Академию, но ему помешали слабые глаза. Он поехал в Туркестан, в Новый Маргелан, и уже много лет как там служит. Дослужился до капитана, имеет «Анну», собственный дом, лошадь, вообще, целое маленькое хозяйство. Только яркое солнце и ослепительный снег зимою повредили его глазам. Через каждые шесть-восемь лет он приезжает лечить их. Теперь он хочет хлопотать об отставке, хотя ему только 42 года.

Колюх добрейший человек, но очень некрасив и, прожизв всю жизнь в Азии, конечно, имеет азиатские замашки. Этого-то Геничка не может ему простить. Она очень его не любит, и напрасно. Колюх всегда всем хочет сделать удовольствие. Он приезжал прошлый раз лет семь тому назад, когда еще папа был жив и мы жили в Полтаве. И, можно сказать, никого не забыл — папе привез шелковый, тамошней работы ковер. Маме одну большую и две маленькие скатерти, вышитые шелком ручной работы. Гене китайскую розовую атласную материю, мне шелковых шарфов целую кучу. Получив хорошее образование и достигнув высокого чина, он не гнушается своими братьями, ездит к ним в деревню и возит им подарки. Все его недостатки состоят в том, что он закоренелый провинциал.

После обычных расспросов Галактион Никитич объявил, что будет за мной ухаживать, чем немало меня сконфузил, так как сзади шли некоторые из моих подруг.

«Боже, что я за человек! За барышней пошел и без конфет! Так нельзя. Надо конфет».

«После купите», — говорит мама.

«Нет, нельзя, Юлия Александровна, пойдемте покупать конфеты. Только укажите хороший магазин».

«Ну, пойдем к Бличкену. Кстати, у Кудрявцева тетради надо купить». Пошли. «Дайте фунт конфет за рубль», — говорит мама.

«Нет, я так не хочу. Надо бонбоньерку, хорошенькую бонбоньерку барышне на память. Покажите мне бонбоньерку, что-нибудь очень хорошенькое», — обращается он к продавщице. Та снимает какую-то невзрачную штучку и объявляет: «Пять рублей».

«Нет, что-нибудь хорошенькое, что-нибудь лучше».

«Вот за семь рублей».

«Галактион Никитич, побойтесь Бога! Зачем это? Купите ей лучше фунт за рубль, ну за два. Ведь это брошенные деньги, за которые можно купить что-нибудь пополезней».

«Полезное своим чередом».

После такого ответа мама побоялась уж протестовать. Наконец, купили бонбоньерку за 8 рублей уже с конфетами. Вправду очень красивую — красная атласная, а на крышке настоящая живопись сепией по белому атласу, но все-таки деньги потрачены большие. Бонбоньерка, правда, прелестная, но такая, что только можно держать в чехле, а там сколько было простеньких бонбоньерок за рубль или два, которые бы украсили так хорошо мой стол. Конечно, я не ропщу на него, я не имею на это права, потом что очень было с его стороны мило это желание подарить что-нибудь хорошенькое, но все-таки этим поступком он нас поставил в неловкое положение. Мы были совсем

просто одеты, не представляли ничего особенного, а пришли покупать такие бонбоньерки!

Однако конфеты очень вкусные и деятельно уничтожаются. Мама обещалась докупить еще, так как я хочу заинтриговать кузину Ньюшу. Она придет, увидит бонбоньерку с конфетами, и я ей скажу: «Вот, Ньюшенька, сделай честь, мне поднеси...» То-то она будет ломать себе голову, кто это мог бы мне поднести!

Мы составили план не говорить Гене, кто подарил, а заставить ее отгадать. Вот уж ни за что не отгадает! Мама предположила, что она подумает на Дойникова. То-то будет потеха! Дойников (его чаще называют «американским жителем» или «ладожским утопленником») — очень богатый молодой человек, кончивший Технологический институт, но маленького роста, зеленый, с болезнью селезенки и вдобавок очень неинтересный в разговоре. Всегда молчит или односложно отвечает. Хотя хорошо понимает музыку. Он, кажется, очень любит Геничку. По крайней мере, в прошлом году он у нас бывал почти каждый понедельник. Что уж, кроме нее, могло его привлечь, не знаю. Ну уж за американского-то жителя не то что Геня не согласилась бы выйти, но и мама, которая очень желает, чтобы Геня вышла замуж, не захотела бы ее за него выдать, несмотря на богатство. (Примечание от 22 сентября 1954 года: бедный Дойников умер от воспаления легких вскоре после этой записи.)

Геня приехала и опять уехала в Кронштадт, навестить Володю, старшего сына тети Стаси, который был нездоров. Леля также приехал.

Но продолжу рассказывать про учителей. Русский учитель совсем молодой, белокурый, розовый, очень высокий — Иван Александрович Зильберг. Не думаю, чтобы он был снисходителен. Напротив, наверное, будет придирается и сбивать. Учитель физики Константин Михайлович Гудович мне очень нравится — он немолодой, но умный и страшно живой, я таких люблю. Сразу начал урок объяснением нового, рассказал про закон Паскаля и еще кое о чем. В гимназии я уж в первые дни освоилась. Подружки мои быстро раскусили, что я хорошо французский язык знаю, — сегодня не счесть, сколько рассказов для них написала. Сижу я теперь с бывшей институткой Маргаритой Стеценко, это очень миленькая девочка.

Витя написал мне письмо и прислал 35 карточек с видами. Это очень мило с его стороны. Да еще прислал марок, а вот это даже неприятно. Он меня просит прислать ему марок, а теперь вдруг мне присылает. Письмо очень интересное и живо рисует Витю и вообще поляков.

Сегодня во время перемены подошла одна второклассница и, узнав, что у нас был русский урок, воскликнула, прижав руки к сердцу: «Ах, ах! Дайте же

мне поцеловать перышко, которым он писал!» Это везде в гимназиях так — обожание учителей.

Ах, я еще забыла описать, как в воскресенье на первой учебной неделе было любопытное событие. Утром мы были в церкви, а часам к двенадцати — звонок, и являются Геня и Марити. Марити — жена Володи Шаверновского, она голландка и всегда говорит по-французски, но теперь уж говорит и по-русски, хотя с маленьким оригинальным акцентом. Марити мне очень нравится, да и все находят, что она прехорошенькая, только одно ее портит: безобразный рот; зубы как-то расположены наружу, и когда она говорит, передние зубы все время выдаются, но когда привыкнешь к этому недостатку, в нее просто можно влюбиться. (Примечание от 22 сентября 1954 года: потом ей как-то подпилили зубы, и она стала еще красивее.)

Сейчас же явилась на стол моя бонбоньерка. И Геня, и Марити нашли ее очень красивую, а Геня через несколько времени, поймав меня в моей комнате, с видом величайшего любопытства спросила, кто мне подарил конфеты. Но разочарование было велико, когда я сказала ей правду. Взяв конфету, сестра сказала: «Я беру конфету от тебя, а не от Колуха».

Потом мы прибирали в зале, и мама увидела во дворе человека, имевшего вместо одной ноги деревяшку. Она послала Лелю дать ему двугривенный. Леля вернулся расстроенный и сказал: «Вот уж не будут потерянные 20 копеек. Представь себе, что этот человек не может говорить, а как-то жалобно кричит. Верно, он потерял ногу на железной дороге и от страха лишился языка». У меня в портмоне было несколько копеек. Я побежала дать ему. Несчастный! Еще не старый и, действительно, говорить не может, а испускает какое-то надрывающее: «Ээ... ээ...» Ужасно!

Как мы должны благодарить Бога, что мы здоровы, можем говорить и имеем обе ноги. А я еще сегодня утром принялась плакать, когда мама рассердилась, что я торопила ее идти покупать учебники. Думала, что на меня несправедливо сердятся, и считала себя несчастной. Я дала ему четыре копейки, у меня было еще два гривенника, а я их не заметила. Правда, что копейки были совсем, совсем мои, ну и новенькие, как золото блистали. Все-таки лучше было бы дать 20. Ну, теперь уже не вернешь.

## УПРАЗДНЕННАЯ УЛИЦА

*Санкт-Петербург, октябрь 2017 года*

**Д**ом покрашен зеленой краской, оттенок — «оливки без косточек». Окна оторочены белыми полосами, почему-то напомнившими воротнички небогатых, но аккуратных старушек. Вниз с самой крыши спускаются водопроводные трубы,

уродя и без того не самый красивый в городе фасад. Исторический архив Санкт-Петербурга... Вчера перед сном Ксана читала все, что смогла найти в Сети и про это учреждение, и заодно про улицу Псковскую, которая на протяжении своего существования носила и другие названия — одно было обидным: Упраздненная. Совсем недалеко отсюда — Пряжка, квартира Блока, где теперь музей. Но у Блока свои летописцы, а Ксану интересуют исключительно Левшины и Долматовы.

К несчастью, на сайте архива было доходчиво сказано, что подавать запрос на работу с документами следует за месяц до предполагаемой даты визита, так как читальный зал перегружен. Вся Россия вдруг кинулась изучать семейные летописи и удобрять генеалогические древа. Вот и Ксана туда же. Сейчас ее вежливо попросят оставить заявку и растаять в свете дня, который разгулялся не на шутку... Деревья прямо-таки сверкают листвой, особенно вон то, на углу. Похоже, что вяз.

Где-то она слышала краем уха (ох уж этот «край уха» и его вечный спутник — «один глазок»), что в Петербурге многие вековые вязы приходится спиливать, потому что они заражены голландской болезнью. Журналисты предсказуемо называли все это «Кошмаром на улице Вязов», да и Ксане было жаль древние вязы, ей нравились эти деревья: мощные, но какие-то аккуратные, будто причесанные.

Мама когда-то давно показывала ей листья вяза: смотри, они всегда асимметричны, какой листик ни возьми, часть слева от черенка будет обязательно отличаться от правой. Листья гладкие, красивые... «Мама любит деревья больше, чем цветы и, пожалуй, даже больше, чем людей, — думала Ксана, открывая тяжелую дверь архива. — Кажется, она знает о деревьях все — и про каждое может рассказывать историю: в детстве они вполне заменяли собой сказки».

— Смотри, — говорила мама, — видишь, как изогнулся ствол того клена? Это все от жадности, он тянулся к солнцу и сам так себя изуродовал. Почти как человек. А вон та ива — красавица, жаль, что растет в таком месте, что никто ее красоты не видит, не любит...

Сравнения с деревьями люди, как правило, не выдерживали. Деревья были терпеливы, скромны и щедры. Тень в жаркий день, успокаивающий шепот, защита от дождя — и долгая, долгая жизнь. Ты умрешь, а дерево, посаженное тобой, останется на долгие годы. Если не придет голландская болезнь, разумеется. И если не вырубят...

«В общем, не так и много остается в городах от прошлой жизни», — думала Ксана. Те самые деревья, а еще — проложенные улицы (пусть и упраздненные) и названия, имена. Даже если виллу «Эрмитаж» в



Кларане назовут однажды по-другому, имя улицы — chemin de L'Ermitage — останется и на карте, и в памяти, и в истории...

— Не знаю, что вам сказать, — развела руками сотрудница архива. — Надо было заранее предупредить, у нас на сайте вся информация.

— Но я не могла заранее, я здесь случайно, проездом! Из Екатеринбурга.

Теперь сотрудница развела руками совсем в другом смысле:

— Ой, я ведь тоже с Урала!

До этого она говорила как петербурженка, но теперь в речи ее зазвучали родные короткие гласные: прыгали, как рыбки в воде!

— Из Ирбита. Знаете такой?

— Конечно, знаю!

— Надо было, конечно, на сайте... А! Ладно, давайте посмотрим, что можно сделать. Запрос подготовили?

— У меня только фамилии.

— Нет, ну так я вам точно ничего не найду. Хотя бы знаете, где ваши «фамилии» работали, учились, жили?

Ксана с перепугу позабыла все, что знала, но потом все-таки вспомнила — почему-то про Лелю.

— Алексей Левшин учился в Институте путей сообщения в 1899–1902 годах.

Уроженка Ирбита приободрилась.

— Пишите заявку. Я объясню, как.

— Еще на Константина Матвеева посмотрите, пожалуйста. Студент петербургского университета, даты те же, может, чуть позже.

— А вы почему ими интересуетесь? Мы обязаны спрашивать, не думайте, что я из любопытства.

— Это мои предки, я пишу семейную историю, — соврала Ксана.

— Сейчас многие пишут, — кивнула сотрудница и почесала себе спину карандашом: там, вполне возможно, проклюнулись ангельские крылышки.

Пока искали документы, Ксана прогулялась к Пряжке и обратно, а после обеда (хачапури в закулочной и чашка кофе, невероятно вкусного и настолько же дорогого) уже сидела в читальном зале, где царила многообещающая рабочая тишина. На столе перед Ксаной лежала толстенная книга документов, переплетенная в начале прошлого века. Еще ей дали коробку, где катались баночки с пленкой (она не знала, что с ними делать), и целую стопу картонных папок с подшитыми документами.

Рядом трудились другие исследователи, и они, в отличие от Ксаны, прекрасно знали, что делать с гремящими баночками, — позади столов находились специальные аппараты для просмотра: пленки закреплялись в проекторе на манер фотографических, вручную заряжаемых в камеру. Она помнила, как это

делается, еще со школы — Ринат несколько раз пытался научить ее фотографировать, но каждый раз все начиналось и заканчивалось «заправкой пленки», а потом они начинали целоваться... Оба тогда еще не умели этого делать, улыбнулась Ксана, вынимая пленку из первой баночки.

На экране один за другим появлялись документы — все они касались Константина Константиновича Матвеева, студента Петербургского университета и будущего мужа Ксенички. «Противный брюзгливый старик», — вспомнила Ксана папины слова. Вот и попытайтесь теперь представить его студентом!

В общем списке студентов Императорского Санкт-Петербургского университета за 1901–1902 он шел за номером 2027: фамилия «сжата» с двух сторон однофамильцем Владимиром Федоровичем, учившимся на юридическом, и Болеславом-Станиславом-Казимиром Викторовичем Матерно, посещавшим факультет естествознания.

Ксана обожала редкие и странные фамилии, особенно в сочетании с такими же редкими и странными именами, — но сейчас приказала себе не отвлекаться, а то мысль растечется по древу и сожрет его, как голландский короед — вековые вязы. Скользнула прощальным взглядом по Эмилию-Йоганнесу Иосифовичу Маурингу и Герасиму Фомичу Махарадзе и принялась читать про мужа Ксенички: «Матвеев Константин Константинович, 1901 год поступления, вероисповедание пр., факультет Е. Семестр III. Стипендия Пермского земства».

В копиях следующих книг Матвеев получал теперь уже Императорскую стипендию и был освобожден от платы за обучение. По документам он производил впечатление человека, умевшего настоять на своем и получить то, что ему причиталось. Если можно, разумеется, судить о человеке по старинным документам — всем этим отчетам, заявлениям, прошениям... Их подписывали, не задумываясь о том, что многие из этих бумажек попадут в архив на вечное хранение, где будут тлеть в строго соблюдаемых условиях, куда их покой не побеспокоит какая-нибудь мнимая родственница.

Ксана на цыпочках отошла от проектора, села на свое место и взяла очередную книгу из стопки, даже не думавшей уменьшаться. На колени ей выпал листок с фамилиями людей, уже запрашивающих когда-то эти самые документы. Три фамилии ей были не знакомы, а четвертой оказалась некая Матвеева — работала в архиве в 2015 году. Впрочем, она вполне могла окзаться всего лишь однофамилицей Константина Константиновича: Матвеевых в России чуть меньше, чем Ивановых, но точно что больше, чем Лесовых.

«ОТЧЕТ о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1904 год»

был составлен и.д. экстраординарного профессора П. К. Кокорцовым, а также имел приложение — речь и.д. ординарного профессора А. Х. Гольмстена. Отпечатан в типографии и литографии В. М. Вольфа.

На странице пятой вновь появилось упоминание будущего Ксеничкиного мужа: не просто студента, но уже делавшего себе имя ученого.

«Студент VIII сем. К. К. Матвеев обработал собранную им по р. Чусовой, на Урале, коллекцию окаменелостей из девонских и каменноугольных отложений и, по поручению Спб. Общ. Естеств., экскурсировал летом текущего года в Закаспийской области. В настоящее время занят обработкой собранного геологического и палеонтологического материала».

Ксана захлопнула книжку — и сделала это, по всей видимости, излишне громко, потому что сосед справа покосился на нее без всякого одобрения. Он был, вне сомнений, опытный житель архива — Ксана знала из Сети, что есть такие специалисты, готовые найти любые документы и сделать выписки, интересующие тех, кто ленится делать это сам. Не бесплатно, конечно. Сейчас, как сказала сотрудница-землячка, это многие делают, стало модным раскапывать свои корни, заново сажать и обихаживать генеалогические древа («гинекологические», как шутил кто-то в юности, сто лет назад — возможно, сама Ксана). Людям свойственно смотреть в прошлое, искать ответы у предков, ну и потом — это действительно захватывает: идти по следам, ведущим в прежние века... Боковые ответвления, тайные комнаты, фамильные секреты, внезапное родство или знакомство, пусть даже поверхностное, с великими (Ксеничка вот, например, покупала книги у Бунина, дружила с племянницей Чайковского, видела брата Дрейфуса и знала Ольгу Герцен)... Это куда как интереснее нынешней жизни, поделенной между лихорадочным зарабатыванием денег и их же бестолковой тратой! Еще можно находить внешнее сходство между красавицей-прабабкой (непреренно полячкой — как говорил один знакомый француз, у каждой русской красавицы обязательно была прабабушка-полячка) и собственной обожаемой «дочурой», фотографиями которой высланы все стены в соцсетях на манер «метлахской плитки».

Другие идут еще дальше — позируют «в образе» собственных бабушек, подражая их старинным фото: но увы, как ни старайся, воспроизвести можно только одежду или прическу — люди позапрошлого века по-другому смотрели, да и стояли-сидели иначе. У них иная пластика, которую передают даже древние дагеротипы, и взгляд другой, да-да, другой...

А вот взгляд соседа — профессионального охотника за сведениями, или, чем черт не шутит, может это писатель-историк? — был осуждающим: Ксана явно раздражала его тем, что не понимала правил

поведения в архиве, где должна царить тишина, как в реанимации. Сосед поймал ее виноватый взгляд и недовольно отвернулся, а Ксана вдруг подумала: еще лет десять назад он улыбнулся бы мне и пригласил в кафе или в кино... Увы, то время, когда мужчины (даже такие нелепые, как этот архивист — в старомодном пиджаке, стриженный под горшок, он явно изображал из себя как минимум Гумилева, или Есенина, или обоих разом) приглашали ее в кино или кафе, осталось в прошлом, как и отчеты об экскурсировании К. К. Матвеева в Закаспийскую область.

«Меня тоже надо сдать в архив, я теперь “упраздненная улица”», — мрачно думала Ксана, листая свой фолиант, и вдруг подпрыгнула на месте, и снова получила раздраженный взгляд справа, прижигающий не хуже «д’арсонваля». Подпрыгнула она не потому, что увидела в книге что-то важное, а потому, что «Закаспийская область» подцепила на крючок в памяти нечто важное и теперь тянула его наружу с усердием опытного рыбака.

В дневниках Ксенички было упоминание о Закаспийской области, точнее — о давней поездке в Баку вместе с мужем. Возможно, в 1905-м Ксеничка уже была замужем за будущим профессором Матвеевым и он «экскурсировал» там вместе со своей молодой женой?

Дневников той поры в крапивном мешке не было, вот и гадай теперь — то ли их не было в принципе, потому что реальная жизнь не оставляла времени на заметки, то ли потому, что именно те дневники отец унес на помойку...

— Вам надо вести себя тише, — свистящим шепотом сказал Есенин-Гумилев и воинственно дернул усами, которые у него тоже имелись.

— Извините, — сказала Ксана. — Я не хотела вам мешать.

— Ну вот и не мешайте. Зал через полчаса закрывается, а я из-за вас не могу сосредоточиться!

Под тяжелым взглядом соседа Ксана прошла через весь зал к столу сотрудницы и шепотом спросила разрешения прийти сюда завтра утром и снова получить те же документы. Разрешение было получено.

Когда она вышла из архива, начало смеркаться. И где-то на отдалении упрямо шелестел листвою старый вяз.

## **ТКАНИ, ТКАНИ, ТКАНИ**

*Свердловск, январь 1988 года*

**Я** никогда не понимала, зачем повторять одну вывеску много раз — «Книги», «Книги», и в третий раз — «Книги» на одном и том же доме. Или вот «Ткани», где работает Ира, — над входом целых три раза написано одно и то же слово. Притом

что книга (во всяком случае, таких, чтобы хотелось купить) в магазине «Книги» отродясь не бывало, да и «Ткани» — хоть запоторяйся! — в основном предлагают материалы не для выпускного платья, а, скорее, для повседневно-рабочего... Да и мало там тканей, честно сказать, — изобилие присутствует только на вывеске.

Пока ехала на ВИЗ, промерзла — день был очень холодный. Когда я вышла из автобуса на остановке «Токарей», кто-то рядом со мной сказал, что температура минус двадцать, а к вечеру «будет еще намерзать».

А ведь я была тепло одета — шуба, варежки, на голове мамин оренбургский платок, поверх него норковая «формовка», которую мне подарили родители к Новому году. Только сапоги дряхлые, ноги в них сразу же дубеют, и некрасивые они (сапоги, с ногами-то, по-моему, все в порядке!). Мама сказала, что новых сапог в этом году не будет точно — и предложила обратить внимание на то, как обута она сама. В общем, все как всегда.

В магазине было почти пусто, только одна немолодая женщина вдумчиво обходила его по периметру, разглядывая портьерные ткани. Возможно, собиралась делать ремонт или просто убивала время. Я все еще не придумала, с чего начать разговор с Княжной, и даже не была уверена, работает ли она сегодня, — о том, что она устроилась в «Ткани (3 раза)», мне рассказала Люся Иманова, которая знает все обо всех (вообще, она, кстати, стала почти нормальная девчонка).

За прилавком стояла очень модная девушка лет двадцати с виду. У нее были пластмассовые клипсы и кофта из ангоры, вся расшитая бисером. Она рассматривала свои ногти с таким видом, как будто у нее было к этим ногтям много претензий, но она их еще не до конца сформулировала. На меня продавщица глянула без всякого интереса и тут же снова вернулась к ногтям.

Я немного походила по магазину, как бы рассматривая ткани, — на самом деле, я сразу поняла, что ничего подходящего для выпускного платья здесь не найти: лежали куски каких-то ситцев с очень грубым рисунком, еще была подкладочная саржа неприятных оттенков, портьерные ткани и что-то вроде драпа, но, по-моему, все-таки не драп. Я стояла спиной к прилавку, когда в магазин зашел еще один покупатель, непонятно что забывший в магазине тканей. Это был мужчина в кожаном пальто и, внимание, с непокрытой головой! Да, снег сегодня не шел, но все-таки минус двадцать!

Лицо у него было, как мне показалось, порочное. Губы длинные, плоские, напоминают лист какого-то дерева, но я не могла понять, какого. Вот мама бы сразу сказала — она знает о деревьях абсолютно все.



Как только продавщица увидела этого мужчину, она тут же скрылась в служебном помещении, и от туда стали раздаваться хихиканья и шепотки, причем я совершенно точно была уверена в том, что она там хихикала и шепталась с Тарakanовой.

Кожаный покупатель поклонялся без всякой цели по магазину, бегло глянул на меня — как будто я была такой же малоинтересной вещью, как рулон цвета убитого мяса (все-таки это драп)! Немолодая женщина, все еще изучавшая портьеры, его и вовсе не заинтересовала. А когда за прилавком снова появилась та продавщица — раздумывавшаяся, с хитрыми глазами, — он решительно подошел к ней и спросил:

— Тарковская сегодня работает?

— Нет, выходная, — с вызовом ответила продавщица. — Что-то передать?

— Я сам ей передам все, что нужно. — Слово «передам» он выделил голосом так мерзко, что меня почему-то бросило в пот. Возможно, впрочем, что мне просто стало жарко — батареи в магазине жарили прямо как у нас в школе. Я потихоньку сняла формовку и размотала платок.

Мужчина сделал еще один круг по магазину, шмыгнул носом с каким-то осуждающим видом и потом вышел, громко хлопнув дверью. Вслед за ним ушла женщина, так и не выбравшая ткань, — но это никого не взволновало.

— Можешь выходить, — громко сказала продавщица, и тогда из служебного помещения вылетела Ира Тараканова: хорошенькая и взволнованная, как гимназистка с картинки в старой книжке.

— А ты что здесь делаешь? — уставилась она на меня.

— Ткань ищу на платье. Для выпускного.

Ира была явно недовольна моим появлением, видимо, им с продавщицей хотелось обсудить кожаного мужчину, а я, конечно, мешала.

— Викуся, ты иди обедай, я тут разберусь и тоже приду, — сказала она.

Викуся ушла, и мы с Княжной остались наедине. Она стояла за прилавком, я перед ним, и со стороны могло бы показаться, что мы такие образцовые продавец и покупатель, вот только Ира скрестила руки на груди, а я не знала, куда деть формовку — на прилавок положить стеснялась.

— Так ты теперь Тарковская? — спросила я, не зная, как начать разговор.

Ира ощетибилась:

— И что? Светка фамилию поменяла, а мне нельзя?

— Можно, конечно! Но почему именно Тарковская?

— Просто понравилось, как звучит.

Я хотела сказать, что мне в одном журнале случайно попала недавно заметка про княжну Тарканову — автор писал, что эта фамилия дворянского происхождения, она происходит от тюркского «тар-аган» — «беглец». И у Ксенички в ранних дневниках упоминались «дворяне Таркановы». Но промолчала. А Ира вдруг немного смягчилась, протянула руку:

— Давай сюда свою шапку. Кстати, такие уже не носят. Особенно поверх платка.

Я сделала вид, что меня это замечание нисколько не задело, хотя внутри все обожгло обидой — за себя и за родителей. Мама так радовалась, когда купила мне эту шапку, каждый день повторяла: ну наконец-то у Ксаны есть хоть одна модная вещь! Пускай форсит, пока молодая!

Тараканова (Тарковская!) бросила шапку на какой-то стул и сказала:

— И какую ткань ты ищешь? В принципе, могу посмотреть, мы тут для своих откладываем...

Она вышла из-за прилавка, повесила на дверь табличку «Обеденный перерыв» и закрылась изнутри на ключ. После чего повела меня в служебное помещение, где Викуся ела чебурек, роняя крошки на свою роскошную кофту.

За этим помещением располагалось нечто вроде склада, и это была настоящая пещера Али-Бабы!

Только вместо драгоценностей и золота здесь лежали ткани — и каждая была как будто специально сделана для моего выпускного платья. Княжна доставала все новые и новые рулоны — шелк, штапель, сатин, лен, вискоза, какая-то неведомая мне тонкая материя с выдавленными бархатными цветами... Рулоны были, судя по всему, тяжелыми, но Ира таскала их, не пикнув, — видимо, уже привыкла.

— Вот эта пойдет, по-моему, — сказала она, вытащив с дальних полок бледно-оранжевый шелк в продольную полоску: блестящая чередовалась с матовой. — Сколько метров нужно, знаешь?

— Нет. Я только так, посмотреть.

— Отрежу три, — сказала Ира. — Деньги-то хоть с собой?

— Нет, — снова сказала я, глядя себе под ноги.

— Ладно. Куплю на свои, потом отдашь. Только не забудь.

— Мама приглашает тебя в гости, — невпопад сказала я. — Хочет поговорить насчет Димки и просто... повидаться.

— Повидаться? — улыбулась Ира. — Некогда мне просто видаться. И пусть не беспокоится за своего сыночка, у меня уже давно другие отношения.

— С тем мужиком? — не сдержалась я. — В кожаной куртке и губы как лист?

— Сама ты лист! — Тараканова держала в руке портновские ножницы, собираясь отрезать от куска три метра, и вот уже эти ножницы смотрели прямо на меня — острыми концами. Это продолжалось какую-то секунду, но я уже тогда поняла, что буду помнить эту секунду всю свою жизнь.

Княжна злобно откромсала пресловутые три метра, упаковала в оберточную бумагу, перевязала шпагатом и вручила мне. Потом убрала рулон на место и стала подталкивать меня к выходу. Уже мирным голосом сказала:

— Вообще-то посторонним сюда нельзя.

— А как ты, кстати, сюда устроилась? Разве без образования берут?

— Если по знакомству, возьмут куда угодно, — убежденно сказала Ира. — Скажи матери, я зайду на выходные. Деньги за материал вернете, ну и поговорим, наверное.

Викуся уже доела свой чебурек и теперь пила чай из термоса. Ира прошла со мной через весь магазин, открыла двери. Табличка на дверях раскачивалась от ветра.

Только пройдя метров сто, я поняла, что забыла в «Тканях, тканях, тканях» свою формовку — ушла в одном платке! Пришлось возвращаться и ждать, пока обед в магазине закончится. Когда открыли, Иры за прилавком не было — там вновь стояла Викуся: готовила обвинительную речь своим ногтям. Шапку она



мне выдала без единого слова, и я поспешно выско- чила из магазина, успев, впрочем, столкнуться с тем кожаным типом — он тоже вернулся, хотя никакой шапки, я уверена, не забывал.

Только доехав до дома, я поняла, какой лист мне напомнили его губы. Ровный, без изгибов — лав- ровый.

## ЛЮТИК ПРОПАЛ

*Санкт-Петербург, сентябрь 1900 года*

**Д**авно, давно я за тебя не принималась, милый мой дневник, целых девять дней! А все против- ная зубрежка. Сегодня выдалась мне свобод- ная минутка, и я употребляю ее, чтобы записать все, что случилось в эти дни.

В гимназии я совершенно вошла в свою колею. Сочинение, о котором я так печалилась, оказалось по мнению учителя «недурненьким», но баллов он не поставил. Получила 12 за русскую грамматику и за немецкие стихи. Все дни до вчерашнего были похожи: с 9 до 2½, а раз в неделю до 3½ я в гимназии; дома приготавливаю уроки, потом обед, оканчиваю уроки, затем музыка или чтение, и бай-бай.

В прошлый вторник я имела большое удоволь- ствие. Мы были на «Ревизоре», Леля и я. Я была в первый раз в Александринском театре и никогда еще не видала комедии. Была раз на опере «Демон» и в балете «Конек-Горбунок», но ни комедий, ни драм не знала. Я была в восторге! Играли дивно, и нахохота- лась я вдоволь. До сих пор почти каждый день вспо- миная разные отрывки из комедии...

Я прежде подробно описывала каждого учителя, но, кажется, забыла рассказать о батюшке. Он весь какой-то темный, с большим ртом, широкими чер- ными губами и скверными зубами; глаза сердитые, уставятся на тебя — душа в пятки уйдет; «шестерки» так и сыплются. Мокрякову, бедняжку, порезал со- всем; Быковой, которая чудесно отвечала, поставил 11. Как-то мне повезет у него? До сих пор, слава Богу, часто отвечала ему порядочно с места (я сижу на пер- вой скамье перед ним, так он ко мне часто обращает- ся). Раз велел мне прочесть по-славянски Евангелие. Благодаря папе я хорошо читаю, и очевидно, что про- чла недурно, потому что батюшка соизволил сказать: «Вот если бы вы все так читали».

После батюшка предложил спрашиваемой ученице какой-то вопрос. Я вызвалась ответить за нее, и, по-мо- ему, хорошо объяснила. Но батюшка не удовлетворил- ся моим объяснением, стал развивать мысль и нако- нец спросил меня: «Вот вы оставили комнату пустою, заперли и ушли. Приходите и видите — все в порядке и убрано. Какая у вас возникает тогда мысль?» Я очень живо сообразила, что если комната была заперта, то

в замочную скважину никто не сможет влезть. Сле- довательно, тут что-то сверхъестественное. Потому я с уверенностью сказала: «Значит, там было какое-то высшее существо». Батюшку даже покорило, а Сте- ценко живо сказала: «Там был человек, который все убрал». — «Надо больше рассуждать», — обратился ко мне батюшка. Я села, все раздумывая: как мог влезть человек в запертую комнату?!

Сегодня мы пошли гулять. Были на Морской и на Невском. Зашли в Казанский собор, в котором я еще никогда не была. Там служили по кому-то панихиду. Мы поклонились Христу, осмотрели знамена, не- множко постояли, послушали чудное пенье и помо- лились.

Самое важное и грустное происшествие случи- лось в прошлый понедельник — Лютик пропал. Он вернулся со двора и стал снова проситься. Служан- ка выпустила его. Проходит час, другой, Лютик не приходит. Наконец, мы забеспокоились, стали всех расспрашивать. Никто не видал собачку. Несмотря на сильнейший дождь, Геничка пошла искать Люти- ка. Вернулась ни с чем, только один дворник сказал ей, что видел, как какой-то посадский таскал под по- лой маленькую черную собаку. Вот уже шесть дней, как продолжают поиски. Напечатали объявление в «Новом Времени», но все безуспешно. Остается только подать заявление в сыскную полицию. Гово- рят, тогда дадут знать всем дворникам в Петербурге о пропаже собаки.

Геничка с Ольгой Ивановной (портниха, шьющая на дому) отправились на Гугуевский остров. Там за- писали приметы Лютика, причем девица в конторе пометила о нем «с лапом белым». В воскресенье у всех воскресла надежда. Мария Михайловна, моя учительница музыки, объявила, что видела на Горо- ховой у входа в булочную служанку, которая звала маленькую черную собачку в шорах. Причем звала она ее не по имени, а Такся, Таксик, или что-то вроде, а собачка ее не слушалась и бегала между возов и из- возчиков. Мы решили, что это верно был Лютик! Все данные за то.

Сегодня с шести утра мама, Геня и Леля по очере- ди караулили у булочной, но Лютика не увидели. Геня уверяет, что слышала писк в доме № 71, похожий на Лютикин голос. Тогда решились на крайнее средство. Леля отправился в дом № 71, пошел на самый верх и позвонил манерой звонить, свойственной только ему. На его звонок Лютик всегда отвечал громким лаем. Но ничего не послышалось. Отворила дверь служанка. «Здесь ли живет студент Лютиков?» — спросил брат. «Лютиков» он произнес очень громко. Если бы собака услышала свое имя, она бы отозвалась. Ответ полу- чился отрицательный. Лая тоже не послышалось. То же брат проделал у всех дверей, но без всякого успеха.

Бедный Лютик! Леля его так любил. Он всегда называл его, шутя, своим сыном. Многого психа стоил маме. Когда Лютик был маленький, у него была страсть все грызть, и он проделал огромные дырки в совершенно новых одеялах, изгрыз мне пару башмаков, маме юбку и много еще убытков наделал. Чего только стоило одно его содержание в продолжение лета! Да и вообще жалко собачку, которая уже целый год у нас живет и очень к нам привязалась. Я, кажется, меньше всех ее любила, но и мне все-таки жалко...

В субботу была письменная работа по арифметике: две задачи на правила товарищества. Я решила обе. Бедная Стеценко — ни одной. Хотелось мне ей помочь, но мы сидим на первой скамье, против учителя, совсем на виду, поэтому не вышло. Неудача так расстроила Стеценко, что она принялась плакать. Надеюсь, что Монкевич не поставит для первого разу баллов, тем более что многие не решились. В противном случае хочу попробовать уговорить класс просить, чтобы он не делал этого.

Забыла сказать еще вот о чем. В прошлый понедельник — день пропажи Лютика — я была в моей дорогой Екатерининской гимназии, у своих подруг.

Здание гимназии теперь другое, далеконочко оно, это правда, но зато какое чудное помещение! Какая раздевалка, приемная! Зала такая, что можно дать целый бал. Роскошь просто, какое помещение! Я вошла в залу, она была пуста. Мама осталась в приемной, у нее было дело к инспектору. Я стала в ожидании ходить взад и вперед, но никто не приходил. Наконец я догадалась: ведь теперь большая перемена! Все завтракают в классе. Вдруг дверь открылась, и пара за парой стали входить мои подружки. Лишь только меня увидели, стали кричать, закружили, расспрашивали... Двадцать минут прошли как секунда! Я увидела Елену Антоновну, она ласково поздоровалась, говорила со мной. Затем я была в классе. Тут Елена Антоновна очень мило сказала: «Revenez chez nous<sup>1</sup>». А потом спросила: «Où était votre place?<sup>2</sup>» Я указала. «Revenez chez nous, — сказала она тогда, — je vous garderai toujours cette place<sup>3</sup>».

На площадке увидела я Ольгу Ивановну и Дагмару Александровну, которую так любила. Вышла я с довольно грустным чувством на сердце. Там я была первой ученицей, всеми любимой. А что будет здесь, не знаю.

Ужасно боюсь русского!

---

<sup>1</sup> Возвращайтесь к нам.

<sup>2</sup> Где было ваше место?

<sup>3</sup> Возвращайтесь к нам, я позабочусь, чтобы за вами всегда оставалось это место.